

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе.
2017 – 2018 учебный год. Заключительный этап**

**Первый тур
9 класс**

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР)

Виктория Токарева

Рождественский рассказ

Учительница Марья Ефремовна сказала, что надо устроить в классе живой уголок и каждый должен принести что-нибудь живое.

Бабушка предложила:

– Отнесите серого котёнка.

Дело в том, что соседская кошка родила троих котят и перешла жить под нашу дверь. Наши соседи, по словам бабушки, опустили и перестали кормить кошку. Им некогда доглядывать даже за своим Славиком, не то что за кошкой, и Славик всю зиму ходит в ботинках на босу ногу и при том никогда не простужается, в отличие от меня, которая не вылезает из ангины, хотя зимой за мной присматривают шесть глаз: папа, мама и бабушка.

Соседская кошка с котятками перебралась под нашу дверь, и папа выносил им еду на тарелочке. Бабушка была недовольна, потому что папа не работает, а ест и ещё кормит посторонних кошек.

Папа действительно не работал. После перестройки их проектный институт развалился и все оказались на улице. Надо было крутиться, а папа крутиться не умел. Маме приходилось крутиться за двоих, и тогда в доме начались молчаливые скандалы. Это когда каждый внутри себя ругается, а вслух молчит. Но я всё равно всё слышала и была на стороне папы.

Кошек кормили, но не пускали в дом. Однако чёрный котёнок прошмыгнул в квартиру и спрятался под диваном. Его пытались достать шваброй, но ничего не вышло. А вечером, когда все смотрели телевизор, он сам вылез, бесстрашно забрался к бабушке на колени и включил мурлыкающий моторчик, и от этого в доме стало спокойно и уютно.

Утром я проснулась от острой струйки воздуха, холодящей мою щёку. Я открыла глаза и увидела рядом на подушке кошачью мордочку. Наглость, конечно. Но что поделаешь... Котёнок заставлял себя полюбить, и мы его полюбили. А взрослая кошка с серым котёнком остались жить на лестнице, из чего я делаю вывод, что деликатность не всегда полезна.

– А вы отнесите серого котёнка в живой уголок, – предложила бабушка.

– Я против, – возразил папа. – Кошки должны жить на свободе и охотиться за мышами.

– Даже кошки и те охотятся, – намекнула бабушка.

Мы с папой проигнорировали намёк, оделись и пошли в цветочный магазин.

В цветочном магазине работала очень красивая продавщица с гладеньким нарисованным личиком.

– Здравствуйте, – сказал ей папа. – Нам что-нибудь для живого уголка.

– Лучше всего кактус, – посоветовала продавщица. – Самый неприхотливый цветок. Может долго обходиться без влаги.

Она поставила перед нами горшок с кактусом. Его и цветком не назовёшь. Какое-то выживающее устройство, всё в буграх и в иголках. Между прочим, у некрасивых девчонок – покладистый характер. Видимо, всё уродливое – неприхотливо, потому что у них нет другого способа выжить.

– Можно фикус, – сказала продавщица. – Но это очень дорого. Двадцать пять тысяч рублей.

Я не хотела, чтобы папа выглядел бедным, и торопливо проговорила:

– Мне вон тот, красненький...

Горшочек был самый маленький, цветочек самый простенький, похожий на капельку огня и, наверное, самый дешёвый.

– Это герань. Восемьсот рублей. – Продавщица поставила горшочек перед нами.

– Как пачка сигарет, – пошутил папа.

Ему нравилась цена и нравилась продавщица. А мне нравился цветочек. Листья были большие, замшевые, а цветочек совсем простой, в четыре лепестка. Как будто ребёнок нарисовал. Или сам Господь Бог сотворил этот цветочек утром и в хорошем настроении. Проснулся и со свежей головой придумал такой цветок: ни убавить, ни прибавить.

– У меня в детстве была герань, – вспомнил папа, и его лицо приняло особое выражение. Детство – хорошее время, когда ребёнка любят ни за что, просто так, и ничего от него не хотят, кроме того, чтобы он был и цвёл.

– Сколько стоит герань? – царственно спросила широкая тётка в дорогой шубе. Тётка-фикус.

– Это наш. – Я сняла цветок с прилавка и прижала его к груди.

– А ещё есть? – спросила тетка.

– Это последний, – сказала продавщица.

– Жалко. Герань хорошо от моли.

Мало того, что цветок оказался недорогим, он ещё и последний, и полезный. Тройная удача.

Я шла по улице и не сводила с него глаз. А папа говорил:

– Смотри под ноги...

Дома я первым делом заперла котёнка в ванной комнате, чтоб он не скакнул на цветок и не сломал его. Котёнок не понимает, что цветок не игрушка, а живое существо с растительным сознанием. Несчастный котёнок рыдал от одиночества, но я проявила жёсткость, потому что малым злом (изоляция цветка) устраняла большое зло (гибель цветка).

Я поставила горшок на подоконник, к солнцу. Потом налила в банку воды и стала поливать.

– Много нельзя, – предупредила бабушка. – Он захлебнётся.

Я испугалась и даже ночью вскакивала и проверяла – жив ли мой цветок. А утром я увидела, что огонёк ещё ярче, листья ещё бархатнее, а запах явственнее. Это был ненавязчивый, острый, как сквознячок, ни с чем не сравнимый запах. Я его вдыхала долго-долго, потом выдыхала и снова вдыхала, втягивала в себя.

– По-моему, она сошла с ума, – заключила мама.

– Ничего, – сказала бабушка, – это полезно для дыхательных путей. Розы, например, лечат насморк.

– Пусть оставит себе, раз ей так нравится, – предложила мама.

– Неправильно, – возразил папа. – Надо уметь отдавать то, что нравится самой.

– Надо сначала стать на ноги, а потом уж быть широким, – изрекла бабушка.

Мне было жаль отдавать цветок и жалко папу. Я сказала:

– Я отнесу в живой уголок, и мы всем классом будем на него смотреть. Приятно ведь смотреть в компании. Как картины в музеях...

Без пятнадцати девять я пошла в школу. Наша школа находится во дворе, и меня не провожают.

Я шла и смотрела себе под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть на цветок.

Стояла середина октября, но было тепло, как летом, и мальчишки перед школой клубились в одних только формах, без курток. Выше всех торчал Борька Карпов – глотник и дурак. Он был единственный сын у престарелых родителей, они ничего ему не запрещали и носились

с ним как с писаной торбой. Я не знаю, что такое писаная торба, но думаю, что-то очень противное. Как Борька. У него большие руки и ноги, и ни на что хорошее эти руки не были способны, только давать щелбаны и подзатыльники. Остальные мальчишки были помельче, и все переплелись в какой-то общий ком.

Когда они меня увидели с цветком, прижатым к груди, то перестали клубиться, распутались и выпрямились. Ждали в молчании, когда я подойду. Мне это не понравилось. Я осталась и стала на них смотреть.

Зазвенел звонок. Я надеялась, что звонок сдует всех с места, но мальчишки стояли.

«Ты что, боишься, что ли?» – спросила я себя и пошла к школьной двери. Мальчишки стали друг против друга, и я вошла в их коротенький коридор. Во мне разрасталась какая-то тоска, хотя всё было нормально. Я делала шаг за шагом. Остался последний шаг – и я за дверью. Последний шаг... И в этот момент Борька Карпов делает два движения: одно – вверх – заносит портфель над головой, другое – вниз – на мой цветок. Горшочек выскочил из рук, упал на землю и раскололся. Земля рассыпалась, а красная головка цветка отлетела смятым сгустком. Я смотрела на землю и ничего не понимала. ЗАЧЕМ? Чтобы другим было весело? Но никто не рассмеялся.

Зазвенел второй звонок. Все побежали в школу. А я повернулась и бросилась к себе домой, при этом чуть не попала под машину. Но у шофёра была хорошая реакция. Он резко затормозил и помахал мне кулаком. Я вбежала в дом и не могла вдохнуть от слёз. Бабушка заразилась моим отчаянием, и лицо у неё стало как у скорбной овцы. Постепенно ко мне вернулась способность разговаривать, я рассказала про Борьку и про цветок. О машине умолчала, тут бы они все сошли с ума, включая папу.

Папа выслушал и сказал:

– Я ему за шиворот стеклянной ваты натолкаю.

– И что? – Я перестала плакать.

– Он будет чесаться и мучиться.

Чесаться и мучиться. Это не много, но хоть что-то. Лучше, чем ничего.

– А где ты возьмёшь эту вату?

– На стройке. Её там сколько угодно.

Ночью я не спала и представляла себе, как стеклянная пыль вопьётся в кожу. Борька будет кататься по земле, и выть от боли, и молить о пощаде...

Однако папа на стройку не шёл и дотянул до того, что Борькины родители купили себе квартиру в другом районе и Борька ушёл из нашей школы навсегда.

Убитый цветок так и остался неотмщённым. Зло осталось безнаказанным, свободно и нагло гуляло по городу в образе Борьки Карпова. А, в общем, ничего не изменилось. Я продолжала учиться на крепкое «три», по литературе «пять», продолжала ходить в спорткомплекс, дружить и развлекаться. Ничего не изменилось, но убитый цветок...

Прошло пять лет. Я поступила в университет на экономический, хотя собиралась на филологию. Мама сказала, что экономика – наука будущего, а филология в условиях рынка никому не нужна.

Я встречаюсь с мальчишкой Толей, хотя мне жутко не нравится имя Толя. Не имя, а какой-то обрубок. Анатолий получше – но что-то бездарно торжественное, как колонны в сталинских домах. А может, имя как имя. Просто сам Толя меня раздражает. Он – правильный, а мне нравятся неправильные.

Впереди, как нескончаемое поле, раскатилось моё будущее с неинтересной профессией и неинтересной личной жизнью.

Моя теория: в природе существуют пораженцы и везунки. Я подозревала, что моя карьера пораженки началась в то утро возле школы, когда Борька Карпов опустил свой портфель на горшочек с геранью. Я растерялась, онемела, и именно в эти секунды чёрный ангел дёрнул

меня за руку и задвинул в свои ряды. Именно тогда всё определилось и продолжается, хотя при этом у меня большие глаза, ровные зубы и французская косметика. Я цвету и благоухаю, а всё зря.

Сегодня тридцать первое декабря. Новый год. Мы договорились с Толей встретиться у метро и пойти в компанию. Встретились. На Толе была кепка с твёрдым околышем, как у Жириновского. Такие же кепки носили румынские носильщики в начале века. Мне стало тоскливо. От Толи исходила вялая, липкая энергия, похожая на смог в большом городе.

– Всё отменяется, – сказала я. – Мне надо вернуться домой.

– Почему? – оторопел Толя.

– Потому что Новый год – семейный праздник.

– И ты вернёшься в этот старушатник?

Старушатник – это бабушка, кошка, папа и мама.

– Да, – сказала я, – вернусь.

Возле метро раскинулся цветочный базарчик. Я подошла к чёрному парню и купила у него одну розу. Я заплатила не скажу сколько. Много. Я пошла по пути мамы. Всё, что мне нравится, я покупаю себе сама. И я знаю, что так будет всегда.

На моих часах – одиннадцать вечера. В это время все нормальные люди сидят за накрытым столом в предчувствии реальной выпивки. Готовятся провожать старый год. А я сижу в автобусе, где, кроме меня, только водитель и ещё одна пораженка с кактусовой внешностью. С рюкзаком. Должно быть, решила спортивно использовать выходные дни. А я – с розой. Моя роза – тёмно-бордовая, бархатная, юная, только что выплеснувшая из бутона свою красоту, на длинном крепком стебле. Откуда взялась в холодной зимней Москве, из каких таких краёв... Я подняла розу к лицу, и мы нюхаем друг друга.

На одной из остановок в автобус вошёл солдат – высокий, как верста, с большими руками и ногами. Он, видимо, замёрз, а потом оттаял, из носа у него текло. Нос был странный: он не стоял посреди лица, а как бы прилёг на щеки. Должно быть, нос сломали. Ударили кулаком по прямой, как в бубен. А может быть, свалили и били по лицу ногами. В армии это случается.

Солдат сел, продышал в стекле дырочку и стал смотреть в темноту. Время от времени он дул в свои пальцы. Я смотрела на него, не отрываясь, что-то неуловимо знакомое в руках, наклоне головы... Я пыталась уловить это неуловимое и вдруг схватила за хвост: Борька! Борька Карпов! Он, конечно же, окончил школу, потом армия. Кто-то побил его вместо меня.

Все пять лет я мечтала встретить этого человека и сказать ему сильные и жёсткие слова упрёка. Я даже приготовила эти слова. Но они предназначались другому Борьке – красивому и наглому, хозяину жизни. А не этому, в казённой шинели. В свое время я хотела, чтобы он чесался и мучился. И он, должно быть, мучился и катался по земле. Но меня это не обрадовало. Нет. Не обрадовало. Во мне разрасталась пустота, клонящаяся к состраданию.

Я подошла к нему и сказала:

– Привет!

Борька повернул ко мне лицо, увидел перед собой красивую девушку с красивым цветком. Как на календаре. Он смутился и стал красный, как свёкла.

– Не узнаёшь? – спросила я.

Мы не виделись пять лет. За это время я из подростка превратилась в девушку. Это то же самое, что роза в бутоне и раскрывшаяся роза. Ничего общего. Можно только догадаться. Но Борька не догадался.

– Ты мне цветок сломал, – напомнила я.

– Какой цветок?

Он не помнил то утро и горшочек с геранью. И то, что стало для меня событием в жизни, для него не существовало вообще. В тот день на первом уроке была контрольная по геометрии

и все его мозговые силы ушли на доказательство теоремы, а через час, на следующем уроке, он уже не помнил ни о контрольной, ни обо мне. Так чего же я хочу через пять лет?

– Ты Борька Карпов?

– Да, – сказал он. – А что?

– Ничего. С Новым годом!

Я протянула ему розу. Зачем? Не знаю. Протянула, и всё.

Борька не взял. Онемел от удивления. Тогда я положила её ему на колени. Как на памятник.

Автобус остановился. Это была моя остановка. Я спокойно сошла. Не сбежала, не соскочила. Просто сошла.

Борька смотрел на меня из освещённого окошка. И вдруг узнал. Его глаза вспыхнули узнаванием и стали красивыми, потому что в них появился смысл и радость. Новый плосковатый нос делал его лицо более мужественным, похожим на лицо молодого Бельмондо. И большие конечности его не портили, скорее наоборот...

Автобус тронулся. Прощай, мой чёрный ангел. Прощайте, мои напрасные страдания. Прощай, моя роза неземной красоты. Продержись как можно дольше...

Дома меня встретили папа, мама, бабушка и кошка. Они удивились, но обрадовались.

Мы успели проводить старый год и выслушать приветственную речь президента. Президент говорил рублено и внятно, был тщательно расчёсан, в красивом костюме, и было видно, что президент – не пораженец, а везунок. У него всё получится, а значит, и у нас. Потом забили куранты. Мы поднялись с бокалами и закричали «Ура!». И кошка тоже включила свой моторчик и запела о том, что жизнь прекрасна, несмотря на быстротечность и на бессмысленную жестокость. Несмотря ни на что...

<1995>

Виктория Самойловна Токарева (род. в 1937 г.) – писательница, киносценарист. Автор сборников рассказов и повестей, а также сценариев фильмов «Джентльмены удачи», «Мимино». Лауреат множества литературных премий.

Глотник (слово из подросткового жаргона 1960-х годов) – крикливый, шумный человек.

Жан-Поль Бельмондо (род. в 1933 г.) – французский актёр театра и кино, символ мужественности, актёрской красоты и французского кинематографа «новой волны» в целом.

Алексей Цветков

элегия о плюшевом медведе

скажи молва премудрый гугль ответь
куда уходит плюшевый медведь
когда на нём повреждена обшивка
когда спина от старости бела
и ясен пень что жизнь была ошибка
а может быть и вовсе не была
повыпадали бусины из глаз
скажи зачем он покидает нас

под топчаном где старческий приют
он молча ждал пока за ним придут
вот он ещё у выхода толчётся

надорванную лапу волоча
а дальше царство вечности начнётся
всех плюшевых и мягких палача
застынет на устах последний смех
где куклам рай где ад медведей всех

сесть в комнате где раньше жил медведь
и вслед ему немного пореветь
вот ящик где была его квартира
но там он не появится опять
ужели мастер всех игрушек мира
не в силах нас подшить и подлатать
ужели прежних лап собрать нельзя
или нашарить на полу глаза

2013

Алексей Петрович Цветков (род. в 1947 г.) – поэт, прозаик, критик, переводчик, доктор филологических наук. Принимал участие в поэтической группе «Московское время» (образовалась в 1970-е годы). Работал преподавателем, радиожурналистом. Лауреат Премии Андрея Белого (2007), Русской премии (2011). Живёт в эмиграции.

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе.
2017 – 2018 учебный год. Заключительный этап**

**Первый тур
10 класс**

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР)

Антон Чехов

Шуточка

Ясный, зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Всё пространство от её маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У неё замирает дух и прерывается дыхание, когда она смотрит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнёт полететь в пропасть! Она умрёт, сойдёт с ума.

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю её, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьёт в лицо, ревет, свистит в ушах, рвёт, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с рёвом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот ещё мгновение, и кажется — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать всё тише и тише, рёв ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестаёт замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле неё, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берёт меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не даёт ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждёт, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чём-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте ещё раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при

самом сильном и шумном разлёте санок я говорю вполголоса.

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в моё лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык её, вся её фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у неё написано:

«В чём же дело? Кто произнёс *те* слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит её, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне... мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам ещё раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остаётся загадкой! Наденька молчит, о чём-то думает... Я провожаю её с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и всё ждёт, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает её душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

— Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдёте сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без неё не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются всё те же двое: я и ветер... Кто из двух признаётся ей в любви, она не знает, но ей по-видимому, уже всё равно; из какого сосуда ни пить — всё равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идёт вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идёт точно на казнь, но идёт, идёт без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землёй, трогается с места... «Жжжж...» — жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможённая, слабая. И видно по её лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у неё способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаём кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живёт Наденька, садик этот отделён высоким забором с гвоздями... Ещё достаточно холодно, под навозом ещё снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной и, укладываясь на ночлег, шумно

кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у неё становится грустным, грустным, по щеке ползёт слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей ещё раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; её выдали, или она сама вышла — это всё равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у неё уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до неё слова «Я вас люблю, Наденька», не забыто; для неё теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...

1886, 1889

Антон Павлович Чехов (1860–1904) – классик русской и мировой литературы, прозаик, автор более 300 рассказов и пьес, один из самых известных драматургов мира. По профессии врач. Рассказ «Шуточка» впервые был опубликован в юмористическом журнале «Сверчок» в марте 1886 года. При подготовке А.П. Чеховым собрания сочинений в 1889 году рассказ был подвергнут существенной авторской правке.

Дворянская опека – орган дворянского общества губернии, занимался опекой вдов и сирот, личных и потомственных дворян, в частности, управлял их имуществом.

Евгений Лукин

Давняя

Что ты, княже, говорил, когда солнце меркло?
Ты сказал, что лучше смерть, нежели полон.
И стоим, окружены, у речушки мелкой,
и поганые идут с четырёх сторон.

Веют стрелами ветра, жаждой рты спаяло,
тесно сдвинуты щиты, отворён колчан.
Нам отсюда не уйти, с берега Каялы, –
перерезал все пути половец Кончак.

Что ты, княже, говорил в час, когда затмение
пало на твои полки вороным крылом?
Ты сказал, что только смерд верует в знаменья,
и ещё сказал, что смерть – лучше, чем полон.

Так гори, сгорай, трава, под последней битвой!

Бей, пока в руке клинок и в очах светло!..
Вся дружина полегла возле речки быстрой,
ну а князь пошёл в полон – из седла в седло.

Что ты, княже, говорил яростно и гордо?
Дескать, Дону зачерпнуть в золотой шелом...
И лежу на берегу со стрелою в горле,
потому что лучше смерть, нежели полон.

Как забыли мы одно, самое простое –
что доводишься ты, князь, сватом Кончаку!..
Не обидит свата сват и побег подстроит,
и напишет кто-нибудь «Слово о полку».

1983

Евгений Юрьевич Лукин (род. в 1950 г.) – писатель-фантаст, автор рассказов, повестей, романов, песен и стихотворений. Лауреат литературных премий в области фантастики. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе.
2017 – 2018 учебный год. Заключительный этап**

**Первый тур
11 класс**

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР)

Марина Вишневецкая

**Т. И. Н.
(опыт сада)**

Соседи моей двоюродной сестры, пока не новые русские, но люди, к этому явно предрасположенные, много и трудно для этого работающие, хочется сказать старомодно: «попросили меня посидеть»... но нет, наняли на три летних месяца няней и немного гувернанткой – за хорошие, по моим представлениям, деньги. В институте к этому времени мне оставили уже только заочников, так что лето, всё целиком, стало моим.

В нашем с Дашей распоряжении оказалась половина одноэтажного дома: три комнаты с кухней и чудной, обитой вагонкой верандой. Вход у нас был отдельный, перед крыльцом цветник, вокруг дома сад.

В этом саду я впервые увидела, как раскрывается мак. Происходит это ровно за двадцать минут. Лопается бутон, причём лопается внизу, под ним оказывается ком как будто смятой папиросной бумаги. И этот ком на твоих глазах неспешно приподнимается, расправляется, чтобы в конце концов сбросить зелёную, шершавую, мешающую прищлёпку. Новорождённый мак ещё влажен – всего только мак, а стоит и покачивается, как однодневный телёнок. Он родился. Если ты это видел, его уже невозможно сорвать.

А чтобы увидеть закат – во всю ширь, иногда во всю его многоярусную и многоцветную глубину, – нам с Дашей было достаточно выйти на огород. А уж если девочка моя не ленилась, не капризничала, не сводила со мной счёты за какое-нибудь дневное «нельзя», мы отправлялись на наш косогор: внизу, словно в чьей-то мозолистой ладони, лежала деревенька, а за ней вверх по склону, к самому небу карабкался густой, смешанный, в эти минуты уже, как смола, чёрный лес и впечатывал свои ели в самые облака. В августе на эту натруженную ладонь, как будто другой, свободной рукой, были небрежно брошены хлопья тумана. И похожая дымка то там, то тут тянулась над лесом. В моём детстве мы украшали ёлку просто кусочками ваты. А получалось вот так же таинственно.

Когда солнце соскальзывало, а иногда казалось, стекало за растопыренные, будто вырезанные ножницами ели, и утягивало, – а он медлил, не хотел, не утягивался, – последний лучик, Даша сердилась, сердилась искренне, а хмурилась деланно, яростно топала ногой: «Ну всё, его нет! Всё, всё, пошли отсюда!» – как будто и ей могло быть по-настоящему грустно. Грустно, в какой-то миг безысходно, потом отстранённо, спустя мгновение – отрёшённо... и вдруг почему-то светло. Невыразимо. Стареющая женщина и девочка четырёх с небольшим лет, друг другу случайные, можно сказать, чужие, стояли, в этой невыразимости увязнув, – если правда, что птицы во время заката на миг умолкают, я думаю, ровно по той же причине, – а потом и мне, и ей как-то сразу делалось зябко. Она хныкала, просила жакетик, хотела, чтобы домой я несла её на руках. И часто засыпала, прилипнув кудряшками к моей взмокшей шее, укаченная на ходу моим немного вразвалочку шагом. В саду было уже по-настоящему сумеречно. И только синицы дозванивали не высказанное друг другу за день.

Ночью яблоки буквально шагали по саду – большими размеренными шагами. И от Даши, на соседней кровати неслышной, беспомощной, кроткой, себя уже было не отличить. По саду расхаживал кто-то огромный, надёжный, правильный. Казалось, вдохнёт, дунет и раскачает твою колыбель. Ночью ведь спишь в положении эмбриона... и, видимо, потому

все твои возрасты проваливаются куда-то в подпол. Лежишь и слушаешь, как мыши их перемалывают в труху.

Или – как безумствует дождь.

Ливень по саду метался, в нём неистовствовал. Листья, земля, цветы, крыша над головой дрожали, звенели, кричали в ответ. Потом ветер стихал, а дождь всё только усиливался – это была неостановимо работающая гильотина, то и дело вспыхивающая своим занесённым острием. Она рубила все нити, связывающие нас с большой землёй. Плащ, сапоги, зонт, набитый продуктами холодильник, мобильник, оставленный Дашиними родителями, – не утешало ничто. Потому что переживание было каким-то мистическим. В городе, в блочной многоэтажке, когда ночью льёт дождь, думаешь о тех, кто в земле, каково им там, бедным, – мужу, маме... Или, если отец допоздна засиделся на лавочке, смотришь, как тяжело он переставляет ноги, как, промокнув уже насквозь, в облепивших его худобу штанах и рубашке, медленно шкандыбает к подъезду. Или как случайный прохожий мечется между потоками, низвергающимися с крыши, и неотвратимым прибоем, несущимся на него из-под колёс...

На даче всё по-другому. Ты – младенец, предсказания были ужасны, родители в них поверили, и вот ты уже брошен в корзину, корзина – в бурную, пенящуюся реку, – ты всё уже понимаешь, но не в твоих слабых силах что бы то ни было изменить.

Если же гром стучал кулаком прямо по нашей крыше – однажды спросонья мне показалось: это неспелый арбуз свалился мне на голову, и вот уж в разные стороны полетели белые ломти-ошметки! – Дашка в ужасе забиралась в мою кровать, дрожала, прижималась к моему и сквозь ночную рубашку тепло, может быть, даже жару своим холодным, дрожащим тельцем, – дом становился ковчегом, а голубь, отправленный наугад, наудачу, дважды уже возвратился. Кто знает, он мог вернуться и в третий раз – книга книг ещё не была написана. И слова, которые я шептала всхлипывающему в меня комочку, – про долгожданную воду, которую пьют сейчас под землёй гномики, эльфы, и червячки, и кроты, и мышки, и корни деревьев, а домовята сейчас запасают воду для баньки, а добрые кикиморы (слышишь, как плещутся?) отмывают на болоте своих маленьких деток, – были не из меня, я не знаю, откуда, – из детства? не моего – ещё прапрабабкиного, должно быть.

Утром я снова просыпалась во взрослость, вернее сказать, в престарелость... Горсть таблеток запивала родниковой водой. Здравовалась с паучком, высевшим перед дверью веранды – всегда на уровне моих глаз. Он был очень похож на краба и так затейливо полосат, а может быть, даже и конопат, что мне бы для полноты знакомства десятикратную лупу, а я опять забыла её в Москве!.. Боднув паучка ногтём, – отчего он стремительно, точно кисть виртуозной арфистки, уносился ввысь, – я открывала дверь. Я точно знала, что сейчас увижу... А увиденное опять заставало врасплох. Трава от густой росы стояла вся белая, солнце ещё не поднялось, а яблоки лежали в траве и светились. Даже в самое хмурое утро. Свет был у них внутри. Наш с Дашкой белый налив – с обязательной тёмной отметиной на ударившемся боку. Яблоки я собирала в корзину. Рыхлость отметин вырезала. И делала яблочное пюре.

Я застала Дашу в тот миг её жизни, когда маленькая девочка таинственным образом уживалась в ней с маленькой женщиной, манерной, капризной, подчас дрянной. «Ты не любишь меня, ты никого не любишь! У тебя поэтому нет детей! Моя мамочка дорогая, родная приедет и выгонит тебя отсюда на кулички!» – вдруг кричала она на самый пустяковый запрет. И валялась в траве, на полу, однажды даже в грязи – там, где застала её ярость. Она знала, как я люблю этот мак, он раскрылся на моих глазах, когда Даша ещё спала, но всё увиденное я ей рассказала, и она несколько раз в день подбегала к нему, ручки смешно заводила за спину и нежно вдыхала... А потом вырвала его – где только силы взяла? – прямо с корнем, стоило мне не включить ей в сорок пятый раз её любимый фильм «Лабиринт» – из-за долгой прогулки мы не успели с ней позаниматься французским. «У тебя тоже не останется в жизни больше никакой, никакой, никакой радости!» – и топтала его ногами.

И это же самое дитя, спустя всего час, могло положить мне головку на руку, на колени, руку поцеловать – без притворства, с нежностью, которая возможна разве что между шмелём и цветком: «Таточка, ты мне совсем ещё не надоела. Ты будешь жить с нами всегда-всегда?» Её влажно набухшие от полноты чувств глаза смотрели прямо в меня, минуя зрачки, в мою испуганно сжавшуюся, а потом вдруг рванувшуюся к ней душу.

Синицы появились в нашем саду в середине июля. Стояла жара. Две мелкие птички обнаружили под козырьком крыльца небольшой прямоугольный провал и стали пытаться в него влететь. Перечёркивали воздух, в нём изворачивались, метались, старались... Но с лёгкостью у них это стало получаться не сразу. Только к вечеру первого дня. Чтобы их возле нас удержать, мы стали подкармливать их семечками. Сыпали щедро – на перила крыльца. И через несколько дней у нас столовалось уже шесть «летучих яблочек». Это Дашка их так окрестила.

Спустя пару недель, совсем к нам привыкнув, они хватали гостинец почти что из рук. Если же мы вдруг про них забывали, принимались метаться перед самыми глазами, доводя Дашу до иступлённого, восторженного визга.

Схватив семечку, птица неслась на яблоню. Семечку придерживала лапами и долбила клювом. Вдруг слышался лёгкий хруст – точно такой же, когда лузгу разгрызаешь зубами. И ровно на этот миг делалось что-то понятней – про себя, про синицу... может быть, про то, что бездна, нас разделяющая, не так и огромна.

А потом они начинали звенеть. Пока они пощёлкивали или потенькивали, они всё-таки были птицами. Но их металлический перезвон, а в иные мгновения он становился и вовсе хрустальным, делал их существами иной природы – механической, ангельской, я не знаю какой, – неземной. Плачу я легко, слёзы мои стоят недорого. Но чтобы вдруг проследиться от звона синиц, чтобы слушать его с перехваченным горлом?.. Потому ли, что всякий сад – это Сад?

Когда над ним повисало облако, – монументальное, затейливое, изошрённо вылепленное ещё и светом, ещё и тенью, во всей необозримости времён и судеб – такое одно, на твоих глазах едва уловимо меняющееся, только в это мгновение и существующее, стоящее и плывущее, не соразмерное ни тебе, ни божьей коровке, ни дереву, а всё-таки позволяющее себя охватить целиком и уже только этим всех уравнивая со всеми, – сад тоже делался островом, облаком, астероидом, обещанием встречи с теми, с кем никогда уже не увидеться на земле. Сад, такой живой и сиюминутный, каждый миг изумлявший то снежно-белой запырошенностью жасмина, то торжественно бордовым свечением барбариса, то вдруг огненно полыхнувшими возле изгороди настурциями или малиной, которую, сколько ни собирай, всякий день её делается больше и больше, – в конце августа, как бывает только перед разлукой, сад во мне словно бы замер, потом как будто окаменел... Он стал казаться мне каменной скрижалью, истёртой миллионами прикосновений, но, если закрыть глаза и отправить в путешествие зрячие пальцы, под ними вдруг проступали разрозненные, случайные буквы. Они не складывались в слова. Я думаю, у меня просто не хватало воображения. А может быть, памяти.

Память таилась в непредсказуемых Дашиных реакциях. Вот она выметает с веранды добрую дюжину скукожившихся насекомых. Пальчиками выхватывает из кучки пчелу, кладёт на ладонь и слёзно бормочет: «Пчёлочка, ну пчёлочка! Ну лети же!» – и подбрасывает её с истовой верой в то, что смерти нет. А вот моя девочка маленькими осторожными шагами подходит к парнику – хозяйка впервые нас сюда позвала – полюбоваться. От всего увиденного Даша сутулится и крадётся, на лице почти испуг, в глазах – изумление: оказывается, перцы, огурцы и помидоры растут фактически на деревьях, оказывается, помидоры бывают и жёлтого, и тёмно-бурого, и даже чёрного цвета, а помидор «бычье сердце» – по форме точно такой, как сердечко на заколке в её волосах, только уж слишком огромный – на её глазах сорванный и подаренный ей помидор. Она, как цыпленка, бережно прижимает его к груди. Мы выходим на воздух из влажного, целлофанового тепла. Мне кажется, Даша сейчас заплачет, иначе с увиденным не совладать. Молчит. Посапывая, идёт по тропинке.

На нашем крыльце наконец настороженно говорит: «Я его съем и что? Моё сердце станет таким же? Пребольшим-пребольшим и небьющимся?» – «Нет, не бойся! Не станет!» – «Нет, станет! Сейчас как съем его! И ты тоже, Таточка, чтобы ела!» – «Я не хочу, чтобы моё сердце стало небьющимся!» – «А я хочу! Я для тебя же хочу! Раз оно опять у тебя вдребезги!» – ноздри ширит, как мама, а в глазах, больших, папиных, влажно-матовых, будто только что вынутый из колючей шкурки каштан, насмешка, потом вдруг растерянность, нежность. Она кладет помидор на крыльцо, прижимается, обнимает мои колени. Август кончается. Скоро разлука.

Дашина мама, регулярно приезжавшая к нам на полтора выходных, – что давало мне маленький роздых, а главное – возможность метнуться в город, к отцу, – к этой разлуке Дашу готовила, видимо, исподволь. Я-то долгое время считала, что и в Москве хотя бы один раз в неделю мы продолжим наши занятия французским, чтением, счётом. Ведь мы на удивление много успели за лето. Но Дашина мама, женщина молодая, решительная, практичная, рассудила иначе. Ей не хотелось, чтобы Даша привязывалась к кому бы то ни было. Она не отваживалась делить с чужими людьми девочкину любовь.

А всё-таки этот сад у нас с Дашкой был. Я думаю, только стареющие женщины и совсем маленькие девочки в слове «был» могут расслышать «есть». Для всех остальных жизнь – это бурная, порожистая река, берега всё время меняются, слева и справа то и дело являются новые виды... А то, что вытекает эта река из сада и возвращается в тот же сад, люди не понимают, вернее сказать, не помнят. Да и я, не случись в моей жизни этого лета, почти наверняка об этом не вспомнила бы.

Деньги за август Дашин отец привез только в начале октября. Стоя в дверях, скромно извинился, беглым взглядом прошелся по унылости нашей прихожей, в прошлом году залитой соседями и до сих пор так и не отремонтированной... Протянул конверт и стал уже было прощаться. Вдруг сказал: «А знаете, что она вчера про вас изрекла? Уже в кровати!» Я пожалала плечами. «Папочка! Почему так получилось, что у Таты такое красивое лицо? Я хочу увидеть её голову и глаза!» – а потом, как будто бы о сказанном пожалел, отмахнулся рукой... или это он так со мной попрощался и бросился к лифту.

2001

Марина Артуровна Вишневецкая (род. в 1955 г.) – российский писатель, сценарист. Автор сценариев анимационных фильмов, искусствоведческих и исторических документальных лент. Автор юмористических текстов, стихотворений для детей, повестей и рассказов, регулярно печатается в толстых литературных журналах. Лауреат Премии журнала «Знамя» (1997, 2002), Премии Ивана Петровича Белкина (2002), Большой премии Аполлона Григорьева (2002).

Рассказ «Т. И. Н. (опыт сада)» вышел в 2001 году в журнале «Знамя», вместе с произведениями «В. Д. А. (опыт неучастия)», «М. М. Ч. (опыт возвращения)», «А.К.С. (опыт любви)» и рядом других составил сборник «Опыты» (2002).

Иван Жданов

* * *

Мороз в конце зимы трясёт сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы.
Мороз в конце зимы берёт немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.

Что делать нам в стране, лишённой суесловья?
По несколько веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя.
Там звёзды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лёд голодный гул дождя.

Пока слова и смех в беспечном разговоре –
лишь повод для него, пока мы учим снег
паденью с облаков, пока в древесном хоре,
как лёд, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,
и некуда идти, – что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

1974

Иван Фёдорович Жданов (род. в 1948 г.) – современный поэт, эссеист. Лауреат Премии Андрея Белого (1988), Премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности (1997), Новой Пушкинской премии в номинации «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру» (2017). С конца 1990-х годов активно занимается фотографией.